

С. Серапинъ. Пушкинъ и Музыка. Опытъ выявленія литературно-музыкальной проблемы. Софія, 1926.

Книга С. Серапина представляет собою въ настоящее время очень рѣдкое и въ высшей степени симпатичное явление. Собственно говоря, только такія книги и слѣдовало бы писать, хотя, быть можетъ, и не такъ писать. Недаромъ она не снабжена никакимъ предисловиемъ, которое бы разъясняло и оправдывало ея появление. Эта книга — продуктъ очень большой и сложной мысли, цѣликомъ захватившей автора и вынудившъ его высказаться. Она посвящена важнѣйшимъ, конечно, проблемамъ искусства, жизни, философіи, сливающимся у автора, какъ у всякаго, кто идетъ на этихъ путяхъ до конца, въ одну проблему. Но съ труды безплодныхъ упражнений «формалистовъ» отрадно остановиться на книгѣ, фактомъ своего появленія свидѣтельствующей о томъ, что еще жива та «русская критика», о которой говорилъ Мережковскій, критика «не въ старомъ узкомъ смыслѣ публицистики... а въ смыслѣ новомъ, ... критики, какъ вѣчного и всемирного религіознаго сознанія, какъ неизбѣжнаго перехода отъ поэтическаго созерцанія къ религіозному дѣйствію — отъ слова, къ дѣлу» (Гоголь, 1909, стр. 149, 150). И самое вѣрное понятіе о книгѣ Серапина мы дадимъ, если скажемъ, что она примыкаетъ къ критическимъ трудамъ Мережковскаго, Розанова и Гершензона. Наличность напряженно переживаемой общей идеи просвѣтляетъ сознаніе, изощряетъ глазъ и ухо, помогаетъ въ художественномъ произведенияхъ усмотрѣть много такого, чего не въ силахъ открыть и самыи «методологически-безупречный» формальный анализъ, не направляемый никакой общей мыслью: въ книгѣ Серапина разсѣянно множество замѣчательно вѣрныхъ и тонкихъ чисто-эстетическихъ замѣчаній, — и даже тамъ, гдѣ онъ только повторяетъ результаты наблюдений «формалистовъ», онъ формулируетъ ихъ по своему, углубленнѣе, выразительнѣе, осѣре. Авторъ ограничивается здѣсь только выводами, ничего не подтверждая и не доказывая; о большой подготовительной работе, продѣланной имъ, можетъ догадаться только тотъ, кто когда-либо самъ занимался этими вещами; свою «ученость» онъ аристократически-тищательно скрываетъ. Не забудемъ, что музыкальные «иллюстраціи» пушкинскихъ текстовъ для автора — только примѣры, на которыхъ онъ выясняетъ свою концепцію музыки, и надо быть ему благодарнымъ за то, что, формулируя метафизическую сущность музыки при помощи отрицательныхъ опредѣлений, показывая, почему музыка не можетъ «служить низшей сферѣ» и «стать иллюстраціей психологіи» (стр. 89), почему не ея дѣло ползти за текстомъ и подчеркивать собою декламацію (о «чусыкальной драмѣ» Даргомыжскаго и Мусоргскаго), онъ далъ популъю такія великолѣпныя характеристики «Пиковой Дамы» Чайковскаго, «Бориса» Мусоргскаго, «Моцарта и Сальери» Корсакова.

Серапинъ дѣлить съ символистами не-только ихъ сильныя стороны, но и слабыя. Сила нашихъ критиковъ-символистовъ была въ томъ, что къ вопросамъ частнаго порядка они подходили, отправляясь отъ общей идеи, и потому никогда не «размѣнивались» на мелочи.

чи и не терялись въ нихъ, не впадали въ мертвенный «александризмъ». Слабость же ихъ была въ томъ, что анализа частныхъ (для нихъ) вопросовъ они не отграничиваю отъ «поучения» и «назиданія», что они плохо различали черту, отдѣляющую «смыслъ» данного художественного образа, вложенные въ него художникомъ, отъ тѣхъ, которые они сами въ него привнесли. Насыщая художественные образы подчасъ глубочайшимъ символическимъ смысломъ, которымъ эти образы могутъ обладать (— и надо признать, что они дѣйствовали при этомъ по полному праву, поскольку образъ, рожденный художникомъ, есть реальность), они склонны были относить эти смыслы пасчетъ замысла самого художника, — причемъ теорія, выдвигающая значение безсознательного элемента въ творчествѣ, чрезвычайно облегчала и даже санкционировала такое смѣщеніе чисто-критической задачи съ философской. Серапинъ въ своемъ произвольномъ обращеніи съ пушкинскими героями, какъ съ символами, положительно не знаетъ границъ. Въ своемъ усиленіи «перемѣститься» въ истолковывающего автора, критикъ-символистъ незамѣтно для себя просто становится на его мѣсто, и начинаетъ словами автора говорить уже «отъ себя», а въ концѣ концовъ просто-на-просто и чисто вѣнчаниемъ образомъ «украинаетъ» его словами собственная мысли, даже не потрудившись оговориться, что мысль автора онъ при этомъ искажается. Ясно, что «холодъ вдохновенія» въ Пушкинскомъ посланіи къ Жуковскому не имѣть ничего общаго съ тѣмъ охлажденіемъ пушкинского поэтическаго дара, о которомъ говорить Серапинъ (стр. 14). Критическое истолкованіе текста тутъ переходитъ уже въ злоупотребленіе текстомъ. И этотъ примѣръ — не единственный. Но критику-символисту и этого мало. Онъ «знаетъ», что именно долженъ былъ бы сказать авторъ вмѣсто того, что тогдѣ дѣйствительно сказалъ, онъ «эменируетъ» текстъ: Серапинъ находить, что Жуковский «удачно» замѣнилъ собственной строкой, включенной въ Памятникъ, «слова Пушкина о его эпизодическомъ (?) либерализмѣ» (стр. 127).

Для критика-символиста все это, конечно, мелочи. И не въ критикѣ — суть книги. Ея настоящая тема — «проклятие Музыки». Музыка, какъ ее понималъ Шопенгаузъ, какъ основѣ самой космической жизни. Музыка страшна, ибо она — безпредметная мистика. Отдаваясь музыке, «становясь частью, но не членомъ вселенной, человѣкъ перестаетъ быть жителемъ земли; уходя въ бытіе и въ вѣчность, онъ временно уходить изъ времени и при жизни — изъ жизни; онъ уже не хозяинъ своего хозяйства, не гражданинъ государства, не сынъ родины и не отецъ семьи» (стр. 68). И поэтическую заслугу Пушкина авторъ видѣтъ въ томъ, что музыкальное начало въ поэзіи Пушкина стремится побороть началомъ логическимъ. Однако, съ точки зрѣнія автора, это — только начало пути. Поэзія должна привести къ прозѣ (или, какъ у Лермонтова, выродиться въ чистую музыку), торжество логоса надъ мелосомъ должно быть полнымъ. Только это можетъ гарантировать полное торжество личности надъ безразличіемъ всеединства, или, что то же, жизни надъ смертью. Такова, въ немногихъ словаряхъ, философія автора. Ея недостаточность очевидна: въ чемъ же и

состоитъ жизнь индивидуальности какъ не въ **самой этой борьбѣ** съ хаотическимъ безразличиемъ Всеединства? И, покуда длится борьба, — и существуетъ личность. **Полная победа**, если она только вообразима, здѣсь равносильна пораженію, ибо полный отрывъ личности отъ цѣлаго знаменуетъ собою опустошеніе личности, утрату ею содержанія, **обезличеніе**, являющеся метафизическими чѣмъ-то много хуже, искаженіемъ мистического саморастворенія во всесѣломъ. И потому, — что это за противопоставленіе «жизни» и искусства? Развѣ цѣнности художественная сами не—жизнь? Авторъ ставитъ свою проблему, какъ проблему русского возрожденія. Тѣмъ-то она и захватила его. Именно **русская жизнь**, по его представлению, «пронизана стихіей музыки» (стр. 59), и русской жизни и русской души это сообщаетъ «ту ихъ лунатичность, которая обуславливаетъ ихъ несравненную высокую культурную тональность и ихъ практическое неблагополучіе» (стр. 73). Мы видимъ, такимъ образомъ, что **«русское возрожденіе»** рисуется автору совершенно иными чертами, нежели большинству говорящихъ и пишущихъ на эту тему въ нынѣшнее время. Не ради нализму и практицизму, а русской **мистичности** бросаетъ авторъ свой вызовъ. Музыка, въ ея метафизической сущности, представляется автору великой опасностью для русского человѣка, какъ и для европейца. Это, говоритъ онъ (стр. 139), «европейское искусство, смѣжное съ областью религіи», оно «характерно для Востока». (Для евразийца это утвержденіе было бы лучшимъ доводомъ «въ пользу» Музыки). Въ концѣ концовъ, его походъ противъ музыки не такъ ужъ новъ. Его книга едва-ли не перепѣвъ «иска Ницше противъ Вагнера». Надо сказать откровенно, что идея Ницше оказалась автору не по плечу. Онъ не осмѣялся продумать ее до конца. Отрекаясь отъ Музыки, онъ не отрекся, вслѣдъ за Ницше, отъ ея первоисточника, отъ того, съ чѣмъ она, по его уклончивому выраженію, «смѣжна». Заключеніе этого книги снабжено эпиграфомъ, имѣющимъ несомнѣнное автобиографическое значеніе. Это — слова Сальieri:

Как будто тяжкій совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ цѣлебный миѣ огѣкъ
Страдавшій членъ!.

Книга Серапина тѣмъ и цѣнна, что она имѣетъ выстраданія. Надо на себѣ самомъ испытать всю мощь колдовскихъ чаръ музыки, чтобы такъ возненавидѣть ее. Но на радикальное «отсѣченіе» авторъ все же не отважился. «Пусть музыка уйдетъ въ церковь и пусть только церковь будетъ опекой «паденія духа» (стр. 143). Легко сказать «пусть». Неужели авторъ думаетъ, что «музыка» такъ и можно запереть въ Церкви, и что «опека» Церкви окажется достаточной гарантіей того, что «духъ» будетъ «парить» только въ извѣстныхъ предѣлахъ? «Заключеніе» автора — измѣна, въ послѣднюю минуту, всей книжѣ, и эта измѣна руководящей идеѣ влечетъ за собою и измѣну собственнымъ же эстетическимъ убѣжденіямъ: «С Танѣевъ инструментальными композиціями и А. Рубинштейнъ ораторіями покажутъ,

какъ нужно служить музыкѣ, и какъ можетъ служить сама музыка» (тамъ-же). Неужто авторъ не замѣтилъ, какая несуразность заключается въ томъ, что второстепенные сочинители музыки выдвигаются имъ въ качествѣ примѣра для тѣхъ величайшихъ музыкальныхъ геніевъ, о которыхъ онъ говоритъ—и такъ проникновенно—въ своей книгѣ? Плохо дѣло, если Танѣевъ и Рубинштейнъ должны что-то «показывать» Чайковскому и Мусоргскому. И потомъ, что означаетъ упоминаніе объ «кораторіяхъ»? Авторъ словно забылъ о своихъ собственныхъ, замѣчательно вѣрныхъ, разсужденіяхъ о различіи между ирраціональной и невыразимой музыкальной «идей» и программой, раціонально «излагаемой» въ «либретто». Не было никакой нужды такъ рѣшительно вмѣшиваться въ «борьбу за логосъ» противъ мелоса (стр. 142) для того только, чтобы, въ концѣ концовъ, предложить условія перемирия, явно неудовлетворительныя для обѣихъ сторонъ.

П. Бицили.

Россия и Запад. Исторические сборники под ред. проф. Заозерского.
I. Петербургъ, 1923.

Повидимому, это долженъ быть быть неперіодическій журналъ по русской и всеобщей исторії. I-й сборникъ (пасколько я знаю, другіе не появлялись) состоитъ изъ иѣролькихъ статей, библіографическихъ обзоровъ монографического характера и рецензій. В. А. Бромъ въ маленькой статьѣ (происхожденіе термина «Русь») предлагаетъ гипотезу, связывающую «Русь» съ др. шведск. *«dröt»* — толпа, дружина. Не берусь судить о томъ, насколько это мнѣніе выдерживаетъ критику съ чисто филологической точки зрѣнія; исторически же оно весьма соблазнительно, т. к. «Русь» дѣйствительно была дружиною. Г. П. Федотовъ (Боги подземные) изслѣдуется исторію возникновенія культа святыхъ вокругъ невѣдомыхъ гробницъ въ Меровингской Галліи (по агиографическимъ и эпиграфическимъ данными) и доказываетъ — совершенно неопровергнуто — связь этого культа съ переживаніями античного культа мертвыхъ. Въ методологическомъ отношеніи эта статья — верхъ совершенства. Авторъ показалъ, что исторія духовной жизни можетъ быть точной наукой. Мастерству изслѣдовательской работы соответствуетъ у автора еще одно качество, отличающее историка первой величины: великолѣбный по тонкости, точности и выразительности языкъ. Надо обладать непогрѣшимой исторической интуиціей, чтобы сумѣть дать такой стихотворный переводъ латинской эпитафіи, какой даѣтъ авторъ. М. Д. Приселковъ (Борьба двухъ міровоззрѣній) простѣживаетъ на основаніи данныхъ др. русской письменности борьбу двухъ струй въ религіозной культурѣ Киевского периода: аскетической, холодной, ученой, идущей изъ Византіи, и «народной», жизнерадостной, близкой по настроению къ раннему христіанству, вынуждимой имъ изъ Болгаріи. Очень желательно, чтобы на эту работу обратила вниманіе болгарская наука. Статья Е. З. Вулихъ (Изъ міра торговыхъ отношеній въ Москвѣ XVII в.), скончавшейся въ 1920 г., представляетъ собою